

От первого до последнего:

«Мой уважаемый и любимый доктор»



Доктор Адольф Абихт

В 1840-е в имение Мильковщина врачи из Гродно приезжали едва ли не чаще, чем в другие дома. Младшая дочь адвоката Павловского Зюня, будущая Элиза, была здоровым, крепким ребенком, а вот старшая Клементина страдала неизлечимо от рождения. И поэтому в заметках писательницы о детстве врачи вспоминаются, пожалуй, не реже, чем гувернеры и учителя. Описаны они живо и метко, но без лишнего в таком случае подробностей. Нам же подробности эти, понятное дело, не лишние.



Доктор Ян Пилецкий

«В ту пору Клементина была прикована к постели уже несколько месяцев, и мать пригласила к ней из Вильны профессора Абихта, который провел в Мильковщине несколько дней», — читаем в воспоминаниях.

Адольф Абихт — профессор патологии Вильского университета и заведующий кафедрой общей терапии Вильской медико-хирургической академии, но к тому времени уже в прошлом: оба учебных заведения по идейным причинам упразднены, и доктор Абихт, «еще крепкий, но грустный, почти мрачный старец», как описывает его Ожешко, довольствуется только признанием — он блестящий ученый (написал учебник по терапии), красноречивый профессор и хороший рассказчик. «От него тогда я впервые услышала о Вильском университете, его закрытии и всей этой истории, тогда еще очень свежей и не переставшей занимать умы... Мать и все остальные оказывали ему большие почести как одному из мастеров оплакиваемой школы, и это производило на меня огромное впечатление, такое, что однажды, когда он сидел у постели Клементины, я подошла к нему и с той стогой ни сего поцеловала в руку. Мать, которая всю жизнь сего остерегалась, лобных «конвенансов» за мной не сердилась, а сам профессор приписал мой жест просьбе выслушать сестру. На самом деле было не так. Насколько я помню, я чувствовала к нему уважение и симпатию за то, что он ученый и преподает в школе, о которой я слышу так много прекрасного».

Элиза Ожешко пишет, что в тот момент в ней зарождалась «религия великих людей и вещей». Доктор Абихт стал первым в ее жизни врачом, оказавшим влияние на здоровье ее тела, но духа. И было в то время еще два врача, от которых в определенный момент стало зависеть уже ее собственное здоровье, и не только физическое.

Несмотря на все усилия матери и врачей, спустя два года Клементина угасла. «Минутой ее смерти я помню очень ярко. Было несколько врачей, среди них Ян Пилецкий, известный впоследствии всей Литве», — рассказывает дальше писательница.

Ян Пилецкий приехал в Гродно работать врачом частной практики в 1842-м. Элизе тогда исполнился год. Отличник, принадлежавший, пожалуй, последнему выпуску упомянутой академии (и, стало быть, ученик славного Абихта), он обладал особенным даром общения и излучал очень много энергии. Работая в Гродно, он умудрялся в то же время работать и в близких Друскиенках, где незадолго до этого были открыты целебные источники и началось устройство здравницы. Для пациентов и отдыхающих доктор Пилецкий сделал больше, чем мог бы сделать врач: его стараниями в здравнице строятся домики, разбивается парк, возводятся концертный зал, организуются театральные постановки — «дают» сцены из Коженевского, Богуславского, Фредры... Кто знал, что из книги первого, прочитанной в 14 лет, Элиза выведет для себя идеал мужчины, со вторым будет переписываться, а спектакль третьего спустя полвека выплетет в свой роман...

В здравнице бывали многие известные люди: Ян Чечот, Владислав Сырокомля, Станислав Монюшко, Адам Киркор. Вот что писал последний: «Каждый приезжий обращался к Пилецкому. Пилецкий назначал квартиру, а домовладелец вполне соглашался с назначенной им ценой. Пилецкий и лечил, и доставлял больному всевозможные развлечения. Приедет артист и захочет дать концерт — обращается к Пилецкому. В трактире плохо накормят, в гостинице явятся беспорядки — жалуются Пилецкому. Работал он день и ночь, был необычайно точен и аккуратен. Его высокий авторитет и доверие, которыми он пользовался у властей, давали ему возможность осуществлять самые широкие

планы». Долгие годы доктор Пилецкий руководил здравницей и в ней же в 1878 году умер от заболевания сердца.

Но вернемся в Мильковщину, в тот день, когда умерла Клементина. «В комнате, где парили шепоты разговоров, шорох шагов и по минутам вскрипы, вдруг резко наступила тишина, и кто-то меня, плачущую, схватил за руки и вынес из комнаты в другую часть дома, в салон. Был это доктор Пилецкий, который потом, спустя много лет не раз вспоминал, как маленькую отнес меня на руках от кровати умершей сестры». Элизе тогда шел десятый год. Пройдет 22 года — и она, уже известная писательница, посвятит ему свою повесть.

И все же первым лечащим врачом, по мнению самой Ожешко, стал для нее не Пилецкий.

«Едва блеск факела ударил мне в глаза и заиграл траурный марш», — пишет она дальше в тех же воспоминаниях, — «я упала на пол с таким криком и плачем и так стала рвать на себе волосы, что две женщины, на которых меня оставили, не могли со мной справиться и отослали слуг за врачами. До того, как мать и бабка вернулись с похорон, пришел доктор Забело, алыл мне в рот силой какие-то капли и приказал меня уложить в постель, с которой я потом несколько дней не астаивала. Это была моя первая болезнь и первая в жизни тяжелая, серьезная боль».

Доктор Забело — не иначе как Павел Степанович Забело, гродненский штаб-лекарь, первый штатный врач лечебницы для больных с хроническими заболеваниями, назначенный на эту должность за достигнутые успехи. Он тоже учился у славного доктора Абихта.



Доктор Генрик Нуссбаум

Здоровая в детстве, во взрослой жизни Элиза Ожешко болела много и часто. После испытанной юности, тяжелых и разных, у нее обнаружилось сразу несколько *locus minoris resistentiae*: сердце, сосуды, нервы, глаза. Стенокардия, мигрень, невралгии и так называемая черная катаракта...

От катаракты лечил ее среди прочих доктор **Зенон Цивинский**, который учился в Москве, потом в Варшаве, потом углубил знания в Вене, Париже, Берлине, а в Вильне стал врачом небольшой, но всемогущей, глазной клиники и военного госпиталя, где защитил диссертацию доктора медицины. Опыт, полученный в клиниках, сделал его уважаемым и популярным настолько, что однажды графиня Мария Пшецкая, основательница в предместье Вильны офтальмологического института, предложила ему руководить им. Цивинский был прекрасным хирургом, но наибольшую его заслугу в лечении трахомы, которая чаще других болезней ведет к слепоте. Имя этого человека попало на странички одной маленькой пьесы Ожешко и во многие ее письма.

Она много читала и много писала, и это становилось причиной ухудшения зрения. Доктор Цивинский запрещал ей это делать, но... «Писать назло больным глазам», — это же выражение много раз встречается в письмах. А потом вдруг случается вот что: «Еле-еле время от времени могу написать кое-нибудь письмо, да и то через силу». Потом она жалуется: «Обещали, что в деревне глазам будет лучше, а тем временем стало хуже». И нисколько не чувствует себя виноватой: глазам, по ее мнению, стало хуже от «продолжительного блеска солнца, которое искривилось в небе, а возможно, от пыли, которая незаметно поднялась в воздух в засушливые дни, а как раз такие теперы стоят: а может попросту от нестерпимой пыли». И это притом, что Ожешко довольно хорошо ориентировалась в медицинской науке, а врачи уважали ее особенно.

Простим ей эту слабость к писательству и чтению как то, что особенно стоит прощать, и заглянем в ее письма к другому доктору, **Генрику Нуссбауму** из Варшавы, неврологу, физиологу, философу и журналисту. Он был ее другом и тем, кто после ее смерти так сформулировал диагноз, приведший к нему: «Ее случай в очередной раз подтвердил, что продолжительные и глубокие моральные страдания провоцируют в этой удивительной

мышце органические патологические изменения».

Они говорили на одном языке.

«Как бы мне посодержательней отписаться Вам об этой архинудной вещи, которая зовется здоровьем», — пишет Элиза Ожешко Нуссбауму. — Было так: следуя рецепту наилучшего лекаря и моего дорогого друга, я тут же начала пить Апен-ту, *pod i Levisco*, у каждой из этих вещей свой вкус и у каждой он замечательный! (можжевельным ягодам я сказала) и продолжала эта троица больше недели, когда внезапно прекратилась насморк и кашель вынудили меня отписаться от Апен-ты. Еще через несколько дней я вычеркнула из прохормам Апен-ту — и осталась с одной только жидкостью под названием *Levisco*. Ей я верна до сих пор — и она мне преданно служит. Прежде еще, поканула меня та невыносимая слабость, которая раньше часто лишила меня всякой работы, потом прекратились боли в груди, и дыхание стало обычным, легким. Я чувствовала бы себя сейчас вполне здоровой, если бы на меня опять не напал насморк, из-за которого болит голова, а еще больше глаза. Но это временно, это скоро пройдет, и тогда уж меня ждут цветущее здоровье и пишущее перо. Что дальше? До какого количества флаконов *Levisco* мои мечты имеют право взлететь? Это правда, что у каждого человека есть самое подходящее и самое полезное для него лекарство. Для меня это арсеник. Не знаю, помните ли Вы, но я очень хорошо помню: когда мы познакомились, я была так слаба, как никогда после, а Вы так надолго сделали меня здоровой и сильной с помощью арсеника. Были еще и другие средства, но это я принимала дальше всего, и оно оказало удивительно эффективное. Так и сейчас: эти мышьяко-вые воды действуют на меня как казальский ключ».

Апенга — минеральная вода, под *Levisco* подразумевается гомеопатическое лекарство, предписываемое при общей слабости, восприимчивости к инфекциям, дефиците железа, расстройствах кровообращения и низком давлении, а также при тревожных состояниях. Как видим, Ожешко приветствует гомеопатию, которую ей рекомендует доктор. А «казальский ключ» — это из мифологии: когда Аполлон влюбился в нимфу Касталию, она отвергла его любовь и бросилась в ручей, который ее поглотил, и тогда бог искусства наделил этот ключ волшебным свойством — кто из него пьет, получает поэтический дар.

«Доктор Замковский посоветовал мне уменьшать уже дозу строфанта (как же имя этого лекарства напоминает поэзию!) и начать принимать какой-то порошок препарата железа. Исполняя это все пунктуально из любви к тем творениям, которыми я могу еще одарить мир, а прежде всего себя».

Доктор Генрик Замковский — один из врачей, которые дежурили у постели умирающей писательницы и слышали ее последнее, произнесенное в минуту просветления слово: «Умираю». Про него, выпускника медицинского факультета Киевского университета, частного практика, ординатора еврейской лечебницы, члена комиссии по борьбе с холерой, участника товарищества лекарей Гродненской губернии и прочее, и прочее, она написала однажды так: «Мы очень уважаем и любим этого доброго, умного, милого человека, только в одном не можем никак с ним сойтись. А попросту той струны, что звучит в нас как самая громкая, в нем нет совсем. Это можно приписать заграничному воспитанию и, кто знает, не той ли особености ума, благодаря которой можно достичь далекого будущего человечества, когда мечи будут перекованы на плуги, ягнята бесечно уснут под леювом, а младенцы — в змеиных гнездах».

Пока же ягнята способны превращаться во львов, пишет дальше Ожешко. А мы возвращаемся к доктору Генриху. «Сегодня я получила от милой Яди грустную новость о Вашей болезни», — пишет Элиза в Варшаву. — «и спешу сообщить, как она меня обеспокоила. Пусть бы прошло поскорей! Чтобы я как можно скорей узнала, что злой ревматизм умчался от Вас в боры и леса! Чтобы я очень скоро могла Вас увидеть здоровым здесь, в этом сером гродненском доме, где мы провели с Вами столько приятных и незабываемых часов!.. Что я могу рассказать о себе? Лечение в Мариенбаде, или, правильнее сказать, путешествие и связанные с ним впечатления очень хорошо повлияли на мое физическое состояние. Чувствую себя сильнее и здоровее, чем в прошлом году. Но о деталях не напишу ничего, пусть мой уважаемый и любимый доктор захочет ознакомиться с ними воочию».

Вообще курорты Ожешко не любила. Говорила, что не дает они ей того, что дает природа белорусской деревни, и потому выезжала «на воды» нечасто. «Пусть мне хоть целый медицинский факультет пропишет лечение в здравнице, я не поеду», — так, бывало, сопротивлялась она.

В июне 1909-го, за год до смерти, она писала Нуссбауму: «А что до здоровья, то в целом неплохо, и когда приедете, не захотите меня как врач даже знать. Только боль в груди не дает мне ходить, усиливаясь при каждом чуть более быстром или продолжительном движении. Но это ничто! Это только героиды, оглашающие приближение гости, который, может быть, не совсем еще близко, но которого я совсем не боюсь».

Смерти она не боялась, часто о ней говорила, часто ее в дни отчаяния к себе призывала. Только в один из последних дней сказала вдруг: «Умирать пока не хочу. Сама удивилась, но — не хочу...»

В ноябре 1909-го она написала Тадеушу Бохвицу: «Можете себе представить, доктор Нуссбаум во время вчерашнего визита после короткой беседы с доктором Домбровским настоял на необходимости обследовать мое сердце, а после обследования, опять же с Домбровским, очень просил и даже настаивал никуда, и даже на вечера «Музы», из дома не выезжать. Вот и эти мои высказывания запершились. Я бы могла не послушать, но не хочу обижать этих добрых людей, которые так обо мне беспокоятся. Выглядит же все так, будто кто-то дал проклясть с неслаженной осторожностью стеклянный стакан, который вот-вот может треснуть...»

Вместе с Генрихом Замковским спастись ее утром 5 (18) мая 1910 года прибыли вызванные по телефону Стефан Шумковский и Александр Фрог Тальгейм. Последний знал ее с детства: имяние Путриши, в котором она отдыхала в прежние годы, принадлежало его отцу. И это он возглавлял товарищество «Муза», радующее сердца гродненцев музыкой и литературой.

...Не спасли. В девять, после двухчасовой атаки, «она отдала Богу свою благородную душу».